

Е.А.Ган

Суд Божий
(Быль)

Письмо I

Наконец я достиг цели моей поездки, я дома, в своей деревне, и пишу к тебе из комнаты, в которой в первый раз увидел свет. Скоро неделя, как я живу один в огромном доме, где в продолжение пятнадцати лет не раздавался голос человека; не могу изъяснить, с какими чувствами я приближался к родному крову, осматривался, узнавал местность, и когда, поднявшись на крутую гору, ямщик сказал, указывая налево: «Вот Березовка, ваше благородие», я вскрикнул и – стыжусь сознаться – почувствовал, что слеза овлажила глаза мои. Впрочем, эта слеза простительна, она канула¹ данью воскресшему в моей памяти детству, нежной заботливости моих родителей, их ужасной кончине. Да, при виде этих нив, лугов, березовой рощи, из-за которой выглядывал мезонин с красной крышей и золотой крест нашего сельского храма, все бывшее проснулось, ожило во мне, заговорило знакомым душе лепетом. Я въехал в ворота господского дома с чувством невыразимой грусти. Никто не ожидал моего прибытия, все окна и двери в доме были заперты, собаки залаяли на меня как на чужого пришельца и на их лай высыпали из людской сперва ребятишки, потом взрослые люди, но все с незнакомыми мне лицами. Я выскочил из коляски и несколько минут не мог произнести своего имени; смотрел на дворню, которая также чуждо смотрела на меня, – вдруг из флигеля выбежала старушка и, расталкивая всех, с громким криком: «Сашенька, родимый мой Сашенька!» упала ко мне на шею, рыдая. То была няня моя, седая, дряхлая старуха, полуслепая, – однако ж, она узнала меня и одна приветствовала странника на родине. Я обнял ее от всей души, обнял как единственную представительницу всего моего семейства.

Чрез полчаса двери и окна дома отворились; мой Федосий, который выехал уже отсель взрослым человеком, и няня начали представлять мне сперва всех дворовых людей, потом почетнейших крестьян, рассказывая родословную всякого из них, – многих я вспомнил, многих совершенно забыл, – и мудрено ль, пятнадцать лет прошло с тех пор, как меня двенадцатилетнего мальчика увезли отсель, по смерти отца. И вот, объездив полсвета, я, как странствующий голубь Крылова², возвратился в свое гнездо подобно ему с измятыми крыльями, только с избитым сердцем, а не черепом; и отныне поселяюсь здесь безвыездно, делаюсь мирным помещиком, буду сажать капусту и огурцы... Я вижу отсель твою улыбку и сомнительное качание головы, – нет, любезный, несмотря на мои 27 лет, я чувствую в себе твердую решимость отказаться от шумного света, от его праздной деятельности, от суетящегося безделья. Я так рано начал жить, что мне позволено перестать жить преждевременно. Довольно скитался я на своем веку в безлюдных и многолюдных пустынях, довольно искал горя и радостей, плакал и смеялся, то раболепствовал перед страстями, то боролся с ними, упал и возвышался, – пора отдохнуть, сердце устало гоняться за блесками чувств, принимая их издали за искры небесные... Предоставляю вам, баловням и мученикам большого света, танталову жажду золота, почестей, затверженную в драмах любовь, корыстолюбивую либо бессмысленную дружбу, искусственные речи, восторги, наряды... Я восклицаю с Саломоном³: все суета⁴! и с наслаждением возобновляю обет вечного

Публикуется по: Сочинения Зенеиды Р-вой. В 4-х т. Т. 3. СПб., 1843.

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова.

Ган Елена Андреевна (1814–1842) – писательница, публиковалась под псевдонимом «Зенеида Р-ва», мать Е.П.Блаватской.

¹ капнула (*устар.*).

² Речь идет о басне поэта, баснописца и писателя И.А.Крылова (1769–1844) «Два голубя» (1808).

³ Соломоном (*фр. Salomon*).

⁴ «Суета сует и все суета» (Еккл. 1, 2).

одинокости. И в самом деле, если человек хоть раз захочет взглянуть вокруг себя без помощи лорнета, выграненного заученными с детства понятиями, оправленного в железный обруч светских требований и прихотей, которые на старости лет чтутся законами; если не побоится, ложный стыд, войти в себя и быть не чиновником, а просто человеком, как смешны покажутся ему все заботы, труды, хлопоты, – из[-за] чего биться, работать в поте лица, плакать кровавыми слезами! Стоит ли того наш бедный участок жизни, ничем не застрахованный, не определенный. Неведомо для чего приходим мы в свет, не благоразумнее ли же жить в совершенном неведении завтрашнего дня и, ложась спать, отнюдь не высматривать, что принесет нам завтра! Вот какой образ жизни я избираю себе, равнодушный, независимый; ничем в особенности не дорожающий и ни с кем в мире не связанный, я намерен отныне избегать всех связей, уверенный, что наслаждение, доставляемое ими, никогда не стоит горести внезапного разрыва или утрат, которые при них неизбежны. Ты знаешь, как жестоко изведаль я силу страстей своих, в каком омуте испил горечь самознания! Мне не дано в удел шутить чувствами, влюбляться с всегдашней готовностью разлюбить и, получив отставку, искать служения при другом кумире. Я слишком дорого заплатил за блаженные дни моей первой, истинной привязанности, – и теперь, взвешивая холодным рассудком товар с ценой, не могу не сознаться, что игра не стоила свеч. Но равнодушный к себе, я не говорил и никогда не скажу, что могу также хладнокровно смотреть на чужие радости и слезы. Нет, прозревший к жизни, никогда не откажу я в руке помощи слепцам; ленивый к заботам о себе, никогда не пожалею деятельности и трудов, чтоб охранить других от падения или поднять упавших. Терпеть не могу скептиков, сообщающих другим холод своего учения, распространяющих заразу изуверства. Если бедняк тешится пригоршней позолоченных грошей, а девушка любитесь найденным ожерельем, – зачем говорить первому – это медь, или второй – это стекло, а не алмазы. Придет пора и сами всему узнают цену; не узнают – благо им!

И так я с удовольствием вижу изобилие моих крестьян, их здоровые, веселые лица, и радуюсь при мысли, что мне поручено Провидением упрочить их довольство, хранить покой стольких людей.

Если б ты видел, каким сибаритом расположился я, один одинешенек, в моем огромном доме; то прогуливаясь с турецким чубуком в зале, то нежусь на мягких диванах, рассматриваю живопись стен, роюсь в библиотеке. В продолжение пятнадцати лет – все сохранилось невредимо; моя старая няня, прибрав все ключи к рукам, была аргусом и цербером моего наследства, и теперь находит награду в моем изумлении, когда я узнаю вещи, незначительные, служившие еще моим родителям.

Странно, как самые мелочные предметы врезаются в память в детском возрасте! Теперь все, окружающее меня, имеет голос, до чего ни коснусь, все, как клавиши фортепиана, ударяет по струнам моего сердца и вызывает из него звучные отголоски. В первый день, в особенности, я переселился в прошедшее. Обошел я с няней весь дом, я остановил ее, когда она готова была отпереть дверь в матушкин кабинет. Я взял ключ, спрятал его к себе и не прежде, как поздно вечером, один, со свечей, проникнул в святилище. – Нет, не людским языком выразить то, что обьяло душу мою, когда знакомый воздух пахнул на меня из алькова моей матери, когда я увидел ее рабочий стол, туалет, арфу с оборванными струнами и, наконец, ее изображение, висящее на стене рядом с портретом отца моего, прелестное и живое, которое, мне показалось, приветствовало улыбкою давно невиданного сына.

Ах, Аркадий! как она хороша! Я часто говорил тебе, что черты моей матери запечатлелись в душе моей образом высшего совершенства женской красоты, – я не встречал ей подобной, даже в ее родине, в ее Италии, которую она так любила и где погибла столь раннюю, мучительную смертью. Часто я провожу целые часы перед ее изображением, смотрю, дивлюсь и вполне постигаю неутешную скорбь отца моего после ее потери; чувствую, что и я, подобно ему, не мог бы пережить подруги, в которой под наружностью, мифологически прекрасною, скрывалась ангельская душа истинной христианки! – Ты знаешь, что она родилась в Италии, близ Неаполя, но никогда не говорил я тебе и никому в мире об загадочной кончине ее, – не потому, чтобы что-нибудь принуждало меня к молчанию, – нет! Но одно воспоминание об этой страшной минуте

наводит на меня такой ужас, что я трепещу, забываюсь, я не имел бы сил высказать всего, и, однако ж, я желал бы, чтоб ты знал все происшествия моей жизни, чтоб ты ясно понимал меня. Может быть, мне будет легче сообщить тебе это письменно... Но на этот раз довольно, прощай.

Письмо II

Мое желание жить совершенным затворником не сбылось. Не прошло еще трех месяцев со дня моего приезда и вот я знаком уже с двумя домами, – и всему причиной – чересполосные владения. Между моими крестьянами выходили беспрестанные неприятности с одним из моих соседей; для прекращения ссор я решился купить у него спорный луг и отправился к нему, заранее воображая встретить старика угрюмого, вечно ворчащего и сварливого, нечто вроде белого медведя. Вообрази же мое удивление, когда я встретил человека средних лет, очень приветливого, недавно вышедшего в отставку: он служил во флоте, – этого одного довольно было бы для примирения моего с ним; покойный отец вселил в меня такую приязнь ко всем своим братьям-морякам, что даже теперь я люблю их по безотчетному чувству и отдаю предпочтение этим господам земноводным перед всей нашей братьей дипломатов и военных; когда же вместо предполагаемого короткого визита я пробыл у него до поздней ночи, не заметив, как пролетели часы, то сознание в уме и обширных сведениях моего соседа совершенно примирило меня с ним. С той поры мы видимся часто с Золиковым.

Он не женат и, кажется, никогда не женится; насчет супружества мы близко столкнулись в мнениях. Он любит бездомную, независимую жизнь по привычке, я по рассудку, – увидим, что сильнее. Золиков не только не склонен к женитьбе, но боится и избегает женщин. Несмотря на то, он почти насильно познакомил меня с двумя соседками – с своей сестрой и ее дочерью. Впрочем, это знакомство не озаботит меня; мать – женщина умная, очень образованная, но уже немолодых лет и без всех претензий, – муж ее уехал в Петербург для окончания какой-то тяжбы, а дочь – почти дитя! Но надобно отдать ей справедливость, премилое дитя. Она не была ни в одном модном пансионе, не твердит заученных фраз, не приседает с *грасами*⁵, зато выросши на воле, как птенчик, она также весела, резва, непринужденна, а ее младший брат еще милее и притом хорош, как амур. Я взялся учить его рисовать, и он принял мое предложение с восхищением.

Но не подумай, однако ж, чтобы я посвящал много времени моим новым знакомствам, о нет! Большею частью я сижу дома один, занимаюсь чтением, рисунком, иногда в ясную погоду беру ружье и в сопровождении моего *Трезора* иду бродить вдоль реки. Здешние окрестности очень живописны, есть довольно предметов для моих созерцаний и для кисти; ты бы не узнал во мне теперь того пылкого сумасшедшего человека, который едва не застрелился от измены прекрасной Аспазии, и потом с отчаяния два года скитался по белому свету. Мир и тишина сельской жизни довершили врачеванье моего духа; я здоров, спокоен и от всей души смеюсь над своей прошедшей любовью. Но прошу тебя, Аркадий, не говори мне так часто в письмах своих об *ней*, – ее имя не тревожит более моего сердца, не бросает меня в бешенство как в бывалые дни, – но оно отзывается укором в моей жизни за молодость, напрасно истраченную, за слабость, с которой я пресмыкался у ног женщины, не стоившей моего единого помышления! Все, что напоминает мне об этом времени, которое я желал бы вырвать, вычеркнуть из моего существования, – для меня нестерпимо! Я краснею, стыжусь за мое прошедшее, – не говори ж мне об нем, забудь, как я жажду забыть его.

На днях, рассматривая туалет моей матери, я нашел тайную пружину, под которой скрывался ящик с кучей писем. Большая часть из них были писаны женской, незнакомой мне рукой, в некоторых я узнал почерк моего отца. Это открытие пролило новый свет на жизнь моих родителей. Теперь, вызывая детские воспоминания и соображая разные случаи, я разгадываю то, что до сих пор было для меня загадкой. Прощай, Аркадий; в будущем письме, может быть, поделюсь с тобой моими впечатлениями.

⁵ с грацией, с приятностью в движениях (*фр. avec grâce*).

Письмо III

Я начинаю письмо мое рассказом, слушай Аркадий:

В начале нашего столетия одна из великолепнейших вилл в окрестностях Неаполя, у взморья, принадлежала фамилии графов Б^{***}. В ту пору междоусобия, терзавшие всю Италию, в особенности потрясали Неаполь. Старый граф Б^{***}, последний в своем роде, всей душой преданный партии Фердинанда IV⁶, не жалел ни имения, ни здоровья для защиты своего короля. Разумеется, что дом и объятия его были постоянно отверсты для русских; он забыл в них еретиков, угощал их, ласкал, называл братьями⁷. В числе русских, часто посещавших дом его, был молодой лейтенант Л-ов. Граф принимал его, как и всех прочих, не обращая на него особенного внимания, – но в семье неаполитанца был взор, искавший украдкой в толпе чужеземцев *одного*; было сердце, которое в первый раз встрепенулось при встрече с лейтенантом и с тех пор предалось ему безотчетно, с самозабвением, со всей страстью жителей Италии. Это сердце билось в груди Камиллы, единственной дочери графа Б^{***}. Нужно ли говорить, как принял ее любовь молодой моряк, какой взаимностью платил ей. Более двух месяцев влюбленные были счастливы одними взглядами, случайно обмененным словом, принятым или подаренным в тайне цветком. Но Камилла издавна была обещана другому; старый граф, гордый своими предками и богатством, заранее избрал достойного себя зятя; несмотря на то, Камилла, как и все девушки в семнадцать лет, надеялась умиловить отца, тронуть сердце его слезами. Между тем, корабль, на котором служил лейтенант, готовился к отплытию в Россию; Камилла открылась во всем своей матери, прося ее ходатайствовать перед отцом.

В тот же день лейтенанту отказали от дому и через неделю назначили сговор Камиллы с нареченным ей женихом.

Напрасно влюбленная девушка грозила родителям отчаяньем, добровольной гибелью. «Умри! – отвечал отец. – Тогда положим тебя с честью в гробницы твоих предков. Лучше лишиться дочери, чем отдать ее иностранцу, какому-нибудь простому дворянчику, солдату...» Прилагательным разгневанного старика не было конца, и он оставался неумолимым.

Настал день сговора, вилла графа засияла огнями, под цветущими аллеями парка гремела музыка, разряженные толпы гостей бродили в великолепных залах, в павильонах, под сводами померанцев. Невесту вывели, украшенную, как жертву, всеми наследственными бриллиантами⁸; но не столько ослепляла она богатством наряда, сколько пленяла красотой, несмотря на смертную бледность лица своего. В чертах ее отражались все страдания, терзавшие ее в продолжение последнего времени, – но в них не было уныния; Камилла казалась измученною, а не убитою. Ее осанка была горда, величественна, взор бестрепетен. Изредка, когда глаза ее обращались к матери, в них блистало нечто похожее на слезы, – но мгновенное смущенье души в ту ж минуту подавлялось силою воли и слеза сменялась выражением непоколебимой твердости. После торжественного обряда, поздравлений и суматохи от беспрестанного прибытия новых гостей начал устанавливаться порядок бала; одни занялись танцами, другие окружали игорные столы, третьи рассеялись в парке, желая насладиться роскошью южных ночей. Еще несколько времени невеста блистала на паркете в рядах танцующих, потом незаметно скрылась: никто не обратил на то внимания, – пир продолжался за полночь; когда же все общество начало собираться к ужину, тогда только заметили отсутствие невесты. «Она в саду», – говорили ее подруги; «она в своей комнате», – твердили другие. Но Камиллы не было ни в доме, ни в саду; напрасно обегали аллеи,

⁶ Фердинанд I (1751–1825) – король Неаполя (как Фердинанд IV, 1759–1806), король Сицилии (как Фердинанд III, 1806–1815) и король Обеих Сицилий (1815–1825); военный противник Наполеона.

⁷ Весной-осенью 1799 г. русская эскадра под командованием адмирала Ф.Ф.Ушакова действовала близ побережья Италии, в том числе во взаимодействии с английским флотом адмирала Г.Нельсона. Русские высаживали десанты, которые очищали от французов итальянское побережье. Так, десантный отряд капитана Белли 3 июня штурмом взял Неаполь, а 16 сентября тысяча русских десантников под командованием капитана Балабина вступили в Рим. 31 декабря 1799 г. Ушаков получил приказ императора Павла I возвращаться домой. В 1800 г. эскадра вернулась в Севастополь.

⁸ бриллиантами (*устар.*).

беседки, звали и искали ее во всех углах, – невеста исчезла. Можно вообразить ужас родителей, тревогу гостей, – полагали наверное, что несчастная утопилась, бросившись с террасы в море, которое орошало берега парка. До света люди понапрасну суетились во всех окрестностях с зажженными факелами, не нашли никаких следов пропавшей; только в комнате Камиллы, в углу алькова, лежали все драгоценности, украшавшие ее в тот вечер, вместе с обручальным кольцом, и при них, на разорванном билете, которым приглашали гостей к ее сговору, карандашом начертанные слова: «Родители создали мое тело, они могли располагать им, – но душу мою бессмертную вдохнул в меня Господь, над нею только властны *Он* и я, лучше сгубить ее, чем отдать ненавистному; прощайте, молитесь за меня!»

С тех пор никто не сомневался более, что несчастная сделалась самоубийцею; старый граф с женою и родственниками облеклись в глубокий траур, ежедневно в домашней капелле их palazzo⁹ служились панихиды за упокой души Камиллы. В окрестностях носился слух, будто одни рыбак, запоздавши на промысле и возвращаясь поздно ночью домой, встретил небольшую шлюбку¹⁰, в которой между смешанными голосами почудились ему женские рыдания, и когда челнок его поравнялся со шлюбкою, ему показалось, будто на руках одного из мужчин лежала женская фигура вся в белом. Но эти рассказы не дошли до слуха огорченных родителей и вскоре смолкли даже в народе, возбудив на время суеверные толки, что рыбаку довелось за грехи его увидеть, как signor diavolo¹¹ уносил душу несчастной грешницы. Но Камилла не утонула; отважная и страстная девушка в платье мичмана прибыла с возлюбленным своим в Россию, обвенчалась с ним, и как вскоре заключен был мир, то лейтенант вышел в отставку и поселился с молодой супругой здесь, в этом селе, откуда пишу тебе я, их первенец, единственных залог любви Камиллы и лейтенанта Лова.

Вот что узнал я из открытых мною писем, которыми одна верная подруга моей матери извещала ее обо всем, что происходило в семействе после побега ее. Меж ними также сохранились письма к ней моего отца, в которых он заклинал ее согласиться на побег, грозил сумасшествием, самоубийством и, наконец, условился о времени и месте соединения.

Теперь довольствуйся воспоминаниями, которые сохранились в душе моей от семилетнего возраста.

Сколько помню, родители мои были совершенно счастливы, и по прошествии восьми лет все также нежно и страстно любили друг друга, как и в первый год своего знакомства. Иногда случалось мне подсматривать из-под рабочего стола матушки либо из-за ее арфы, как она, перечитывая какие-то письма, горько плакала, или, повергаясь ниц перед распятием, молилась по целым часам, обливаясь слезами, – потом обыкновенно умывала лицо свежей водой, старалась успокоиться и, открыв во мне невинного лазутчика своей горести, строго запрещала говорить о том кому бы то ни было, а в особенности отцу.

Однажды – мне не было еще семи лет – почтовый привез моей матери письмо с большой черной печатью, – оно лежит теперь передо мной, – то было известие от подруги ее о смерти моего деда, графа Б***. На смертном одре ему открыли тайный побег и местопребывание дочери, – он простил ее, а мать, стоя на краю могилы, заклинала свою погибшую и снова воскресшую дочь поспешить в последний раз в ее объятия, утешить хоть конец жизнь, отравленной ее поступком. – Вскоре после того меня посадили в карету, и я с моими родителями отправился за границу. Все, что я тогда видел и слышал, смутно рисуется в моем воображении: я помню, как после долгого пути, мы остановились, наконец, у большого дома, который поразил меня тем, что на крыше его цвел сад и в нем стояли большие мраморные куклы; как моя мать, рыдая, упала к ногам какой-то старушки, которую мне приказали называть mia cara nonna¹². Несколько дней спустя меня заперли в особую комнату, издали я слышал в доме шум, суету, потом пение и увидел в окно, как множество людей, сперва в широких белых платьях, шли с крестами и свечами, а за ними другая

⁹ дворца (*ит.*).

¹⁰ шлюпку (*устар.*).

¹¹ синьор дьявол (*ит.*).

¹² моя дорогая бабушка (*ит.*).

толпа, вся в черном, несла что-то под блестящей парчой, и как все потянулись к капелле, выстроенной в саду. С тех пор я не видал более старушки, и по вечерам меня заставляли молиться за упокой души моей бабушки. – Мы недолго оставались в palazzo графов Б^{***}, все в нем слишком живо говорило моей бедной матери о проступке, до которого довело ее жестокосердие родителей, и однако ж, она винила себя в их ранней кончине, убивалась напрасным раскаяньем. Отец нанял невдалеке от виллы небольшой домик с садом, и мы переселились туда. Матушка была единственной наследницей разоренного, но все еще значительно именья графов Б^{***}. Несмотря на то, ее родственники оспаривали у нее право наследства; завелась тяжба, отец мой принужден был часто отлучаться по делам, мы оставались вдвоем с матерью. Я помню, как в одно утро, выбежав с восходом солнца на берег моря и увидев невдалеке привязанную шлюбку, вскочил в нее и начал качаться, плеская хлыстиком по прозрачным струям; несколько минут спустя я услышал сердитый голос, закричавший «*via fancullo*»¹³, и, оглянувшись, увидел высокого человека в плаще, обросшего волосами, с страшным сверкающим взором, с ружьем на плече; испугавшись, я хотел бежать, но он схватил меня за руку, долго и пристально смотрел в лицо, потом спросил: как меня зовут, откуда я, и на мой ответ вскричал, как сумасшедший: «*Russiano! Signor Iddio, che questo?...*»¹⁴ А я бросился от него с быстротой стрелы и, едва дыша, захлопнул за собой садовую калитку. Через два дня возвратился мой отец, солнце спускалось к далеким горам, вечер был упоителен; мне кажется, что теперь еще я дышу этим теплым душистым воздухом, вижу, как колеблются ветви дерев, отягченные цветами и золотистыми плодами, как тихо плещется морская струя, взбегая на прибрежный песок, будто заигрывая с ним, нежится, рассыпается шипящей пеною и, сбегая, снова сливается с прозрачной волной. Все было тихо, в ближней капелле прозвучал колокол, призывая к вечернему служению, легкий туман упал на море; я играл на берегу с камешками, когда мать моя вышла из калитки, опираясь на руку отца. Она долго ходила у взморья, я продолжал бегать взад и вперед, – вдали показался челнок с белым парусом. Он тихо скользил вдоль залива, приближался, – в нем сидел только один человек в рыбацкой одежде, склонившись лицом к воде, как будто выглядывая на дне морском сокровища.

Тогда, вероятно, по желанию матушки, которая очень любила кататься по воде, отец крикнул рыбаку причалить к берегу, – он тотчас повиновался, я подбежал, прося, чтоб не забыли взять и меня с собой, – челнок остановился у берега, рыбак подал руку моей матери, она прыгнула в лодку, в то же мгновение батюшка, желая вспрыгнуть за ней, упал на спину обливаясь кровью, а рыбак, схватив мать мою сильною рукою, отчалил от берега и начал быстро отдаляться, невзирая на ее отчаянный вопль. Несколько человек прибежали к нам из сада, подняли отца. – «Спасите, спасите!» – кричала бедная моя мать, выбиваясь из рук злодея, – рыбак держал ее крепко, обхватив одной рукою, а другой греб так быстро, что только весло мелькало, рассекая волны, а вода роптала, расступаясь перед ладьей и сливаясь вслед за ней пенными струями.

Мать моя, в отчаянии собрав все силы свои, в последний раз рванулась так сильно, призывая мужа и сына, что от усилия ее легкий челнок пошатнулся, злодей потерял равновесие и вместе с ней ринулся в морскую бездну...

На другой день волны выбросили тело моей матери на песок; ее похититель, вероятно, погиб, подобно ей, в волнах.

С тех пор не могли открыть никакой причины, побудившей незнакомого нам человека к двойному убийству; видимо, что он был не простой грабитель, потому что мать моя была одета очень просто и ее тело нашли в той же одежде с золотой цепочкой на шее, на которой висело дорогое распятие. Подозревали родственников покойного графа Б^{***}, заведших с матерью моей тяжбу, – по смерти ее они, действительно, завладели всем имением, тем более что в ближнюю рыбацкую хижину, за два дня до того, пришел незнакомец, хорошо одетый, и, возвратясь на другое утро после ранней прогулки, запретил говорить о его пребывании и не выходил никуда иначе, как вечером, и то занимая одежду своего хозяина. Теперь я не сомневаюсь, что страшный господин, испугавший меня в лодке, таинственный пришлец и злодей, сгубивший мою мать, – одно и то же

¹³ «пошел прочь» (*ит.*).

¹⁴ «Русский! Господи Боже мой, кто это?...» (*ит.*).

лицо. – Рана отца моего была не смертельна, но смерть обожаемой жены повергла его в величайшую опасность; около полугода он лежал в тяжелой болезни, – наконец, оправившись, возвратился со мною в Россию. Еще четыре года он жил или, лучше сказать, страдал на белом свете. Горе и сильная потеря крови ввергли его в медленную чахотку; на двенадцатом году я остался круглым сиротой! – С тех пор жизнь моя тебе известна, от скамьи в училище до возмужалого возраста мы шли одним путем. Ты был моим товарищем, поверенным и другом.

Станешь ли ты еще, Аркадий, и теперь обвинять меня в излишней склонности к мечтательности, в необузданности страстей? Я всосал их с молоком матери, из ее крови они перелились в мою. Происшествия же, поразившие ум мой в детском возрасте, оставили во мне склонность к сверхъестественному, только не в природе материальной, а в чувствах, в нашем духовном существовании. Я суевер или, правильнее сказать, *чувствовер*, – потому что замогильный пришлец меня не испугает, я не побледнею от полуночного стога или хохота, – но верую в тайный промысел, связующий судьбы людей, руководящий их чувствами; верую в движение безотчетной любви и ненависти, как в незримые нити, которые тянутся, переплетаются иногда чудными сетями, но всегда доводят человека к неизбежной цели, указанной ему Высшим предопределением...

И если Господь сказал, что ни один волос не упадет с главы человека без его святой воли, – то как же полагать, чтобы действия нашего духа, сильного, мощного, не были заранее разочтены, распределены и направлены к чему-нибудь, чего наш слабый ум не может предусмотреть.

Это фатализм! – скажешь ты, – называй, как хочешь; но я предаюсь этому верованию тем с большим рвением, что оно избавляет меня, ленивейшего из смертных, от многих умствований. Жить, опустив рукава, не заботясь о своей доле, – вот моя философия, и с тех пор как перебесившись в омуте страстей я простился с ними навсегда, – я чувствую себя очень счастливым.

Письмо IV

Как твердо был я уверен, что мне нечему более учиться в книге человечества, что я впотьмах разберу ее грамоту, – и вот пришлось сознаться в грубой ошибке, – получив урок, и от кого же? От ребенка, от девочки, не достигшей шестнадцатилетнего возраста.

Помнишь ли, я говорил тебе в одном из моих писем о знакомствах, приобретенных мною нечаянно? С тех пор я истинно подружился с Золиковым, не проходит недели, чтоб мы не видались раза два, три. От него узнал я, что дела его зятя и сестры очень в плохом состоянии, и как его собственное имение, очень незначительное, пришло еще в упадок в продолжение его службы, то он, несмотря на наилучшую волю, не может ничем пособить им. Прекрасный, благородный человек, но вместе с тем большой оригинал!

Во время нашествия французов он служил волонтером в каком-то кавалерийском полку и однажды ему удалось спасти от смерти израненного неприятельского офицера; он взял его под свое покровительство, и несмотря на то, что хлопоты его были плохо вознаграждаемы, потому что пленник его, тяжелораненый в голову, был долгое время как бы помешан, он возил его всюду за собой, лечил и оберегал, как любимого ребенка. С ним возвратился в 15-м году в свою деревню, и как пленник его, пришед, наконец, в себя, не изъявил желанья возвратиться домой, Золиков, открыв в нем высокий ум и благородную душу, женил на сестре своей и уступил им большую часть имения, доставшегося ему после отца.

Но г-н Лафарьер, обрусевший француз, видно не научился хозяйничать по-русски; вышед в отставку, Золиков принял за его имение, а он уехал по делам в Петербург.

Теперь возвратимся к полученному мною уроку. Довольно часто, навещая сестру Золикова, я считал ее дочь Лидию совершенным ребенком, она так неизменно весела, так остроумно шутлива, резва, что ею только веселится все семейство, она одна заставляет улыбаться больную и огорченную мать. И, однако ж, смеясь вместе с нею, не раз заочно я укорял ее в беспечности, даже в бесчувственности к положению своих родителей; брат, моложе ее двумя годами, казалось,

несравненно более принимал участия в беспокойстве матери, сильнее чувствовал ее слезы, – добрый мальчик, я от всей души полюбил его. – Дня три тому, запоздавши у г-жи Лафарьер в беседе с Золиковым, я по приглашению хозяйки остался у нее ночевать. В этот вечер она была необыкновенно печальна, дочь ее – досадно весела. Я не понимал, как стает ее на изобретение стольких шалостей и рассказов, в тайне негодовал на нее и даже, один раз, выразил мою досаду, назвав ее дитятей, – после чего она присмирела и остальное время вечера провела задумчиво в углу. После ужина, не чувствуя никакой охоты к сну, я пошел в сад и долго бродил по берегу реки. Было гораздо за полночь, когда, проходя мимо дому, я заметил в комнате Лидии свет и, взглянув по невольному побуждению вторично, увидел ее с поникшею головой и с пером в руках. Это возбудило мое любопытство, – какой переписке Лидия беззаботная, Лидия дитя может посвящать часы, украденные у сна. Я приблизился к окну и, вообрази мое удивление, увидел перед Лидией толстую разложенную книгу, счеты и кучи бумаг. Она прилежно пересматривала их, что-то выкладывала на счетах и снова принималась писать. Она сидела у стола так, что я мог прямо смотреть ей в лицо и не узнавал этого, так знакомого мне лица. Не было теперь на нем следов смеху и резвости, оно состарилось¹⁵ вдруг несколькими годами; я вспомнил, как часа за три до того назвал ее ребенком, – и мне стало совестно. Долго еще занималась Лидия, и долго я смотрел на нее. Наконец, видно, окончив свои счеты, она, с видом усталости, откинулась на спинку стула, скрестила руки на груди и задумалась. Вскоре рука ее протянулась к платку, – она поднесла его к глазам, – я заметил, что она плакала, – не как плачут дети при виде разбитой игрушки, нет, ее слезы были выжаты грустным размышлением, думою, упредившею ее возраст, – потом, встав, она перекрестилась и отошла в сторону к своей постели. Признаюсь, что всю ночь меня занимало мое открытие, я мысленно просил прощения у Лидии, в которой так долго ошибался, и на другое утро вознамерился взять к допросу моего маленького приятеля, брата ее. От него узнал я, что Лидия одна поддерживает весь дом, входит, под руководством дяди, во все подробности хозяйства, часто проводит целые ночи за счетами, тайно от матери; к тому ж, уговорив родителей отправить гувернантку, которой содержание стоило слишком дорого, более двух лет сама занимается просвещением своего разума, читает и учится неусыпно. – А я винил ее в бесчувственности, когда самая веселость ее была только новым доказательством высоких, благородных чувств; бедная девушка дарит других своим остроумием, вынужденным смехом, оставляя слезы одной себе нераздельно. Свидевшись с ней за завтраком, я смотрел на нее другими глазами, но она, не знаю почему, как будто избегала меня, не замечала моего присутствия. Сего дня еще я говорил с Золиковым о положении дел сестры его – плохо, очень плохо! Грозят продать все имущество их с публичного торгу, тогда отец, мать и двое детей останутся без приюта, почти без хлеба. – Думаю, и не могу придумать, как бы помочь им.

Письмо V

Не стыдно ли тебе, Аркадий, до сих пор не уметь понимать меня; с чего ты взял, будто я влюблен в Лидию? Разве я не изведаль любви? Не был ее избранным и ее мучеником, – нет, это тихое участие в доле милого, доброго создания, уважение к его достоинствам, – это не любовь! Я люблю Лидию как сестру, готов многим пожертвовать для ее счастья, – но я живу от нее в трех верстах и спокойно провожу дни, не выдавшись с нею; даже не раз мысленно приискиваю ей жениха в числе соседних помещиков, – жаль, что не нахожу никого достойным обладать девушкой, которая обещает столько редких добродетелей в качестве супруги и матери. – На днях ожидают прибытия г. Лафарьера; судя по привязанности к нему всего семейства, и даже его крестьян, он должен быть редкий человек.

(Несколько дней спустя).

Не понимаю, что могло до такой степени изменить обращение со мной Лидии, – брат клянется, что не говорил ей ни слова о нашем разговоре, к тому ж, и я не открывал ему, как

¹⁵ состарилось (устар.).

подсмотрел занятия Лидии в окно, и, однако ж, она совершенно не такова, как была со мной прежде, я даже редко вижу ее. Недавно, встретив ее одну в комнате, я даже вздумал просить у нее извинения в слове, вырвавшемся у меня в роковой вечер, и старался проникнуть причину ее внезапной холодности. Она смутилась, покраснела, уверяла меня, что она даже не помнит слов моих, и под незначасим предлогом оставила меня одного. Месяц тому я назвал бы это капризом избалованного ребенка, но теперь, убедившись, как далеко рассудок и чувства Лидии опередили ее годы, – теряюсь в недоумении. (Еще несколько дней спустя).

Загадка разгадана, Аркадий, все объяснилось мне и ты можешь поздравить себя, если не с проницательностью, то, по крайней мере, с даром пророчества. – Я женюсь на Лидии, ты удивишься столь внезапному переходу от равнодушия к женитьбе? Я сам дивлюсь, но, видишь ли, я заблуждался; в моих прежних понятиях любовь была неразлучна со страстью неистовою, кипучею, с сладострастными желаниями, с обладанием материальным. Вот почему так долго в моей спокойной привязанности к Лидии я не узнавал чувства любви. Ее приближение не смущало во мне рассудка, прикосновение к ней не распяляло крови, – она так невинна, чиста, свята, что один взгляд ее смиряет все бурные порывы страсти.

Даже теперь я смотрю на нее с чувством благоговения и вместе покровительства, как на голубку, которая бы на груди моей искала приюта от непогоды, как на дитя, вверяемое мне судьбой, которого отныне я буду единственным наставником, другом и властелином.

Где же прекрасные планы к холостой жизни? Обеты одиночества? Я уничтожаю их тем с большей радостью, что, будучи мужем Лидии, я получаю неотъемлемое право вмешиваться в дела ее родителей, извлечь целое семейство достойных людей от разорения, от нищеты, – и для этого я готов бы был жениться на Лидии, даже не любя ее. Но ты не знаешь еще, какой странный случай открыл мне чувства ее ко мне.

Я поехал к г-же Лафарьер, это был день ее именин и у нее собралось небольшое общество ее знакомых, – должно сознаться, Аркадий, общество утомительно-несносное. Я попал на именины нечаянно, досадовал, скучал как нельзя более и тотчас после обеда вышел в сад отдохнуть на чистом воздухе от поучительной беседы о скотоводстве и от велеречивого злословия и пересудов. В конце сада, в чаще берез, выстроена небольшая беседка из древесной коры; за ней, над обрывом к речке, бросился я на кучи осыпавшихся листьев, предпочитая плесканье струй болтанью людей. Не прошло десяти минут, как в беседке раздался шелест женской одежды, я услышал тихий голос Лидии и ее подруги.

– Видишь ли, Верочка, – говорила Лидия, продолжая разговор, – с того вечера, я не могу прийти в себя. Прежде, когда наяву и во сне я только и думала, как бы угодить маменьке, рассеять ее заботы, я была свободна, весела, – но *его* укор запал мне в сердце так глубоко, что я не могу смотреть ему прямо в глаза. И не думай, чтоб я печалилась о том, что *он* взвел на меня небывалую вину в бесчувствии, – нет, мне больно, как он не понял меня, не проник моего положения, когда я так хорошо понимаю всякое слово, всякий взгляд его...

– И, душенька, может ли какой-нибудь мужчина понять всю *деликатность* нашего сердца.

– Да, какой-нибудь, – но не *он*! Ах, Верочка! ты не знаешь, что это за человек, каким благородством дышит всякое помышление его, – если б ты слышала его суждения, ты бы так же дорожила его мнением, как и я. Зато, в тот вечер, я не смыкала глаз, слезы залили счеты, которыми по обыкновению я должна была заняться. – Верочка, я тут только поняла, как он дорог мне и какая бездна нас разделяет.

– Ну, вот... старайся ему понравиться.

– Мне... мне стараться ему понравиться? Ему, на которого я смотрю как на высшее существо! И даже, если б блестящая красота и воспитание поставили меня наравне с ним, – могу ли я забыть его богатство и положение моего семейства? Стараться нравиться ему и подать о себе мысль, что я ищу в нем выгодного жениха! – Нет! Я не пережила б этого подозрения, оно уничтожило бы меня, убило б стыдом!.. С тех пор как я боюсь изменить себе, я избегаю его, не смотрю на него, не слушаю... Но, Боже мой! чего мне это стоит... Иногда мне кажется, что грудь моя разорвется от этого усилия, слезы душат меня, – а я, верная своему прежнему поведению, я

должна смеяться или равнодушно сидеть, выпрямившись, против него... Недавно он сказал, что намерен познакомиться с графиней Б., знаешь, нашей соседкой, у которой дочь такая красавица... Я вздрогнула, и чтоб не изменить себе, выбежала из комнаты...

– Бедная Лидия! И, однако ж, будь ты богата, а он беден, ты бы верно не посмотрела на это различие...

– Я! Ах, Боже мой! С какой бы радостью бросила я все, все к ногам его! Даже будь он только так же беден, как я, – подала б ему руку, чтоб вместе трудиться, горевать, – о! я чувствую, что в самой бедности я была бы счастлива с ним и составила б его счастье.

Подруги долго еще говорили между собой, – и всякое слово ее падало небесным даром в мою душу. Не так был я любим до сих пор, когда я был моложе, добрее, когда я мог лучше оценить чувство и воздать за него беспредельною взаимностью. Добрая Лидия! В двадцать семь лет я обрек себя холодному, бесчувственному одиночеству, полагая, что роль моя окончена в мире, что мне нечего ни искать, ни надеяться, – ты пробудила во мне трепет радости, отогрела остывшую душу, указала возможность счастья; да, я чувствую, твердо верую, что буду с ней счастлив.

Наконец, возвратился Лафарьер.

По просьбе моей Золиков говорил с ним обо мне, – странно, он долго не соглашался отдать мне Лидию, – только жаркие мольбы дочери вырвали у него согласие; мы помолвлены, через месяц Лидия будет моею; приезжай, мой добрый друг, ты видел меня много раз в горе, теперь приезжай порадоваться моему счастью. Моя Лидия со всяким днем более и более чарует меня! Какая душа! Какой ум! Любовь придала ей бодрости, развернула многие понятия, она переродилась с тех пор, когда уверенность в будущем открыла ей новую жизнь... Нет! Не зная Лидии, я не знал ни женщин, ни любви.

Но сказать ли тебе одно странное, непостижимое чувство? Отец Лидии, почтенный старец, всеми любимый, всеми уважаемый, внушает мне что-то особенное, не страх, не ненависть, – нет, не могу выразить что, – но в его присутствии мне неловко, будто неприятный холод сжимает мое сердце, я едва могу победить свое смущение. Впрочем, он редко выходит в общие комнаты и всегда очень серьезен и молчалив. Недавно Золиков уговорил его навестить меня. Это было утром; в то время как по просьбе моего старого друга подвели к крыльцу заводских жеребцов, – Лафарьер, оставшись один, пошел осматривать комнаты. По возвращении мы нашли его страшно бледным, он почти без памяти сидел в гостиной на диване и, пришед в себя, тотчас уехал домой. Да, он странный человек, чрезвычайно рассеян, часто спрашивает и не слушает ответов, говорит и вдруг в половине речи останавливается и забывает, что хотел сказать. Жена боится за его здоровье. Золиков говорил мне, что он был таков с начала их знакомства, но по излечении раны на голове совершенно оправился, был спокоен, если не весел, – теперь, вероятно, расстроенные дела снова смутили его дух. Я мог бы его успокоить одним словом, – но мы так далеки, так чужды один другому, его холодный суровый взор останавливает всякое сердечное излияние, отталкивает дружество... Моя Лидия будет нашим ангелом-посредником, она обожает отца, и он, кажется, дорожит ею более всего семейства; ради ее я готов любить ее отца, мать, брата, как бы они были моими кровными... Прощай, спеши же ко мне на свадьбу...

Письмо VI

Едва осталось десять дней до желанного срока, а тебя нет, Аркадий, – неужели в первый раз, в важной эпохе жизни, я не увижу тебя? Это будет для меня истинным огорчением!

Через десять дней Лидия должна принадлежать мне, – при этой мысли тысячи ощущений волнуют грудь мою: ожидание блаженства, новая жизнь, неизвестность будущего! С таким же восторгом привез в этот же дом отец мой молодую, страстно любимую супругу, – а как рано, как ужасно лишился ее! Мать моя странно слилась в моих понятиях с Лидией; я, как будто, люблю в них одно существо, не потому ли, что Лидия вторая после моей матери женщина, которая внушала мне чистую, святую и законную привязанность?

Но, вместе с тем, часто неодолимая грусть наполняет мою душу, болезненно давит грудь, – безотчетный страх, беспокойство тревожат меня наяву и во сне и стихают только в присутствии Лидии. Чем грозит мне Провидение, какое еще испытание готовит мне? Или давно отвыкший от счастья, я не могу еще так скоро свыкнуться с ним, и моя тоска – есть только отголосок прошедших страданий, последняя дань всему бывшему?

Сего дня в особенности я сильно расстроен, – сего дня ровно двадцать лет ужасной кончины моей матери! И ее предсмертная борьба, простертые ко мне руки, ее отчаянные вопли – сильнее, чем когда-нибудь, потрясают мой слух и мое воображение. . .

В отроческих, юношеских и даже в зрелых годах я часто желал открыть ее губителя, чтоб выместить на нем все муки моих родителей и моего сиротства, – но как отмстить? Что взять мне у него, – жизнь? Бог знает, дорожит ли он ею? Помышляя о мщении, я чувствовал, что в жилах моих кипит кровь неаполитанца, что я могу постигнуть наслаждение della vendetta¹⁶! Теперь даже это сильное, почти врожденное во мне чувство смирилось перед ангельской кротостью моей Лидии, – потому что я не скрыл от нее ничего, ее слезы и участие почтили прах моих родителей, она молила меня забыть о мщении!..

Прощай, Аркадий, я все еще не теряю надежды тебя видеть на моей свадьбе... Свадьбе? Да сегодня, однако ж, я едва ли похож на влюбленного и любимого жениха, – лицо мое так угрюмо, на душе так тяжело, что я решился не видеть сегодня Лидии и пригласил к себе Золикова с моим будущим шурином, чтоб вместе отправиться на охоту; Лафарьер по-прежнему холоден, молчалив и почти невидим. – Но вот подъехал к крыльцу Золиков, прощай... (Несколько часов спустя).

Охота была чудесная... Я застрелил горлицу, она вся в крови упала к ногам моим, с минуту трепетала и потом затихла... Теперь спешу ко мне на свадьбу, Аркадий, пир будет великолепный, через десять дней... Нет, правда, завтра... Матушка велит завтра, и Лафариер... или как бишь его... Монтерозини, – да, conte di Monterosini¹⁷... Отчего это они все стоят передо мной... Аркадий, мне страшно... не знаю куда укрыться... и Лидия также! О! я несчастный! Зачем Бог избрал меня орудием своим... Что ж, vendetta! vendetta¹⁸! Я жаждал и испил ее до капли... Теперь все желания мои удовлетворены, – спешу же ко мне на свадьбу!..

В конце письма неискусною рукою были начертаны строки: «Ради Христа, Аркадий Алексеевич, умилосердитесь над нами, приезжайте скорее, с бариним случился такой случай... Не мне, холопу, рассказывать вам о боярских делах, но прости Господи, он никак рехнулся, не знаю, что с ним делать, как помочь горю, заставьте за себя вечно Бога молить, приезжайте!

Ваш раб и слуга

Федосий Дворников».

Письмо VII

Письмо Аркадия Алексеевича NN к сестре его

Третьего дня я прибыл к моему бедному другу и, пользуясь минутой его сна, пишу тебе, по обещанью, обо всем, что узнал о несчастье, постигшем нашего доброго Александра. Да, перст Божий руководил его поступками, вера его в пути тайного Промысла оправдалась, – но зачем же он, невинный, сделался первою и самую жалкою жертвою этого недремлющего Промысла?.. Бедный Александр, гляжу на него, слушаю эти несвязные речи и слезы льются из глаз, я плачу, как дитя... Не требуй же от меня связного рассказа, – вот что узнал я: перечитай последнее письмо Александра, – ты увидишь, что он собирался на охоту с Золиковым и маленьким Лафарьером. Целый день бродили они в окрестных лесах и полях, перед вечером разрядили ружья и зашли отдохнуть в крестьянскую избу. Там Золиков, человек очень веселого нрава, успел рассеять грусть Александра и уговорил его провести остальное время вечера у Лидии, которой жилище было от

¹⁶ мести (ит.).

¹⁷ граф де Монтерозини (ит.).

¹⁸ мечь! мечь (ит.).

них в полуверсте. Александр согласился, они снова взяли ружья на плечи, маленький Лафарьер пустился бежать вперед; когда они приблизились к дому, Лидия, узнав от брата, что Александр следует за ним, вышла на балкон и, едва завидев охотников, перевесилась через перила и издали приветствовала их, махая белым платком.

– Что удачна ли была ваша охота? – спросила она жениха своего, когда тот вошел в ворота.

– Чрезвычайно, – отвечал дядя, – не встретили даже ни одного кулика!

– Зато теперь исправимся, – подхватил Александр, – вот я застрелю горлинку...

И с этим словом, шутя, прицелился в Лидию.

– Ах постойте! постойте! – закричал брат ее в испуге, выбегая из дома, – но курок щелкнул, в одно мгновение раздался выстрел и пронзительный вопль. Лидия, смертельно раненая, упала с балкона к ногам обезумевшего жениха...

Пока отдыхали в избе, маленький Лафарьер, играя с ружьем Александра, снова зарядил его.

Через несколько минут Лидия скончалась в страшных конвульсиях, весь заряд попал ей прямо в сердце.

Когда на выстрел и крик Золикова сбежались люди, мать Лидии без чувств упала на ее тело, – все домашние окружили ее с рыданиями, она была любимейшим творением всех, кто приближался к ней... Только отец ее, всплеснув руками, остановился, как окаменевший, над трупом, не испустив ни одного стога, не проронив ни одной слезы. В этом положении он пробыл почти сутки, его взяли за руку, повели в дом, – он повиновался, как дитя; вечером положили в постель, – он лег беспрекословно, – от него не могли добиться ни слова.

Александр был почти в таком же положении, только из мертвой оцепенелости он впадал в бешенство, рвал на себе волосы, просил суда, смертной казни; то, выливая свое отчаяние в потоке слез, он снова стихал, садясь у стола, на котором лежало тело Лидии, бессмысленно смотрел на нее, не отводя глаз. – Когда же усопшую отнесли к сельскому кладбищу, опустили в могилу, засыпали гроб землей и все разошлись по домам, старик Лафарьер, Александр и с ними Золиков, да еще несколько слуг, остались одни у свеженасыпанного холма. Тогда отец и убийца-жених вместе бросились с горячими слезами на могилу, – долго слышались их стоны и рыдания, – слезы в первый раз хлынули из глаз старика, растопили его бесчувственность, он снова получил дар памяти и слова и, внезапно приподнявшись с земли на коленях у могилы дочери, он простер руки к Александру, – лицо его одушевилось, глаза сверкали.

– Суд Божий совершился! – произнес он громко, твердым голосом. – Александр, и вы все, слушайте, простите грешника...

Я, граф Монтерозини, – я был нареченным женихом твоей матери, я сделался ее убийцей, – но убийцей невольным! Бог видел, как я любил ее, сколько страдал, считая ее погибшею, – восемь лет скитался я, не зная родного крова, ни забываясь ни сном, ни минутным отдохновением... Случай привел меня на родину, где я узнал в тебе черты моей Камиллы, – тогда пробудилась моя буйная страсть, я поклялся, что волей или неволей Камилла будет моею, – поклялся наказать ее похитителя... Господь наказал меня за первое убийство вторым неумышленным... С тех пор я проклял себя, родину, имя свое, все бросил, от всего отсекся, – искал смерти в боях, – вы знаете остальное, – я думал, что за мои горькие слезы, за мое раскаяние Бог простил меня наконец, послал мне друга, добрую жену, детей, – а в них Он готовил только жертву мстителю и наказание мне, непрощенному грешнику...

Он снова упал на могилу дочери; Александра отвезли домой в совершенном безумии...

Я призывал несколько медиков; но, кажется, все напрасно, он неизлечим. Нам остается только молиться о скорейшей кончине его. Несчастный пробуждается, имя Лидии и матери срывается с уст его болезненным стоном, – я поклялся не покидать моего друга. – Прощай...